

ЧАЙКИ НАД СУШЕЙ

То ли древнее Пермское море устало молчать из-под спуда,
то ли слёзы собак убиенных овраг переполнили. Или
это крысы отсюда ушли, потому что им сделалось худо,
но чугунных ворон заострённые чайки сместили.

По-над сушею чайки! Послушай, послушай, послушай
их симфонию гвалта... О том ли, что древнее море,
из-под спуда молчащее, вынесло их по-над сушей?
Иль грядущее море, что хлынет на древнее вскоре?

ЗАМЫТАЯ ЛОДКА

Песком – по самые борта –
замыта брошенная лодка:
вся – от ступней до подбородка.
На лбу скрутилась береста.

Природа или человек
песком её утрамбовали –
отгадка явится едва ли,
а волны катятся на брег.

Но кто-то же, неукротим,
в той лодке мчался на моторе,
и каждый мост гудел в дозоре,
когда она равнялась с ним?!

Он, видно, силушку имел,
в песок сошедшую досрочно,
и рюмочки часов песочных
нам опрокидывать велел.

У лодки вся её родня –
собака, черви дождевые
да два бомжа, едва живые,
прибавь сюда ещё меня.

Глядим в оцепененьи неком:
не человек и не сурок –
в забытой лодке спит песок,
внезапно ставший человеком.

СКОРЫЙ ПОЕЗД БЫВШЕЙ ИМПЕРИИ

Поезд шёл, готовый развалиться,
с дребезгом и лязгом, на одном
болтике держащийся чудно`м,
и, два раза выкрикнув: «Граница!»,
убредала наша проводница
две таможни потчевать вином.

Поезд шёл, ночной и скорый, впрочем,
так ребёнок в толщу одеял
с головою прячется от ночи, –
поезд медлил, полз, не шёл, короче,
выжидал, казался обесточен,
но дома в округе освещал.

Надвое разрезав человека,
даже не заметил – поезд шёл
мимо городов и мимо сёл,
века наплывающего – эка
невидаль! – разрезал человека –
скольких он уже разрезал, мол.

Главное, что живы пассажиры,
а бригаду можно не менять.
И зачем всему составу знать,
что летят с колёс кишки и жилы,
что несчастной стала чья-то мать,
что убийца – поезд, если живы
пассажиры, надо ль горевать?

Бывшую Империю сшивая,
он хранил с ней кровное родство,
и она за ним, ещё живая,
всё гналась до самого до края,
дыни, как планеты, простирая
к тамбурам захлопнутым его.

КРИКИ ВО СНЕ

За то, что мать кричит во сне,
спасибо, говорю
родной стране и той стране
голимый крик дарю.

Не оголтелую молву –
свой крик узнай, страна,
как ты не только наяву,
но и во снах страшна.

Как лужи крови горячи
и едок дым с волын,
так ты, страна моя, кричи,
но – голосом своим.

Страна-ловушка. Просвистит
в тумане самолёт...
Но мать во сне своём не спит –
услышал бы пилот.

Мать перебарывает сон,
мать караулит крик,
чтобы, в неё прокравшись, он
в сон сына не проник.

Стерёг я матушкины сны
до третьих петухов,
но как изгнать мне крик страны
из матушкиных снов?

Я тяжело вперяю взгляд
в густеющую стынь
страны, где каждый третий – кат,
а стольный град – Катень.

Неужто снова адмирал
пройдёт по суше, чтоб
перевернуть плечом Урал –
страны хрустальный гроб?

А если – яблони сажать?..
О, не мешайте мне!
Я так хочу увидеть мать
с улыбкою во сне.

* * *

Перед фото папеньки и маменьки
матушка возьми да вы-мол-ви:
– Ах, вы мои маленькие, маленькие!
Маленькие вы мои!..

Что же ей скажу, лишивший начисто
внуков и безбедного житья,
с куклами её сподвигший нянчиться?

– Маленькая ты моя!..

Невеста не пойдёт за женихом.
 Вернёт варягу варезки – и в греки!
 Но мать за сыном двинется пешком
 на север, где варяжьи реки,
 а там тайнокопытным посошком
 не славу, не помилованье даже –
 для сына добывать олений корм,
 чтоб выжил и варяжил.
 И пусть не распалит он скрытый труп,
 хотя не пресечется Божья тяга,
 и грянет весть во греках, что варяга
 на Русь не призовут,
 однако в небесах не зачеркнуть,
 но можно зачерпнуть любой часовней
 по следу сына материнский путь –
 он жертвенней и строже, чем сыновний.

ПАЛЬЦЫ

*Старуха нищая клюкою
 Мой труп спокойный шевельнёт?
 Александр Блок*

Старуха нищая с клюкой
 среди таких же постояльцев
 стоит с протянутой рукой,
 где есть ладонь, да нету пальцев.

Россия, где твои персты?
 За тем холмом или за этим?
 Не подадим. И не ответим.
 И пальцы в крест не сложишь ты.

В какой, Россия, стороне
 следы семян твоих сохранны?
 Твой указательный – в Чечне?
 А в «Белом доме» – безымянный?

А средний твой – на дне морском?
В подлодке «Курск», лишённой слова?
Молчу, Россия, о большом,
поскольку нет его, большого.

Ладонь, которую в кулак
не сжать, сама себе гостинец.
Ещё забыть не может, как
болит Владикавказ-мизинец.

И сам Господь, не пряча слёз,
сквозь пальцы те глядит и стонет:
– Творец, не ты ли произнёс,
что мир лежит, как на ладони?..

НЕ СМОТРИ

Не смотри в газету «Культуру» –
там про Юру напишут сдуру.
Своего расспроси о нём гуру.

Я запомнил: «Мой гуру видит...»
Видно не было. Было слышно:
«Ничего из тебя не выйдет!..»
Можно смело посмотреть, что вышло!

Я, набравший избыточный вес,
с горизонта почти исчез,
как на станции Кез ирокез.

По медальным моим подглазьям
догадается матушка: пил.
Сток я к безобразьям:
стояка проводнице забил!

Разве это лицо пророка?! –
присосавшийся клещ лица:
как раздулся он от порока
и тщеславия налился`!

И расскажут не те, кто живы
и раскручивают прашу,
а погибшие пассажиры,
в чьём я списке себя ищу.

...Удержав на себе взгляд гуру,
разверну его, чтоб внутри
твою ауру и фигуру
рассмотреть, да и ты смотри
в распоследний свой раз на Юру,
ну, хотя бы сквозь моря три,
ну, хотя бы глазами гуру
неотступными...

Не смотри.

МАРШ ДОЛГОВОГО ОБЛАКА

21 августа 1915 года во время Галлиполийского сражения Четвёртый Норфолкский полк англичан полностью вошёл в облако, лежащее у него на пути, облако поднялось в небеса, и больше этого полка никто не видел...

Я скоро из облака выйду
совместно с Норфолкским полком
и вынесу миру обиду
за то, что никто не знаком –
ни я не знаком, ни полк не знаком,
ни я полку не знаком.

То облако прошлого века.
И, если свидетелей счесть,
уж нет на Земле человека
такого, а в облаке – есть:
и полк в этом облаке есть, и я в этом облаке есть.
А облако есть ли? Бог весть!

И всё же оно возлежало
по руслу сухого ручья,
как будто бы жизни начало,
а может, финал бытия.

И полк гремел в облаке: «Я-а-а-а!»,
и я кричал в облаке: «Я-а-а-а!»,
лишь облако «Я-а-а-а!» не кричало.

И то, что прибился к полку я,
ни я не заметил, ни полк,
но облако, битву почуя,
досрочно нас приняло в долг
и взмыло! А мы, маршируя, –
какой, мол, из облака толк? –
про то не возьмём себе в толк.

Пока нас Земля забывает,
в полку прибывает полку,
но в облаке места хватает –
стоит над Землёй, набухает.
Эй, кто облака разгоняет!
Что с этим-то? «А не могу!

Ни так не могу, ни сяк не могу,
ни – хоть об косяк – не могу».

И облако стало Землёю,
и облаком стала Земля.
И я сомневаюсь порою:
а если не в облаке я?

И полк повторяет за мною,
что, может быть, в облаке – я?!

Мы здесь не состарились вовсе –
такие, какими вошли.

Из облака выйдем авось мы,
Но в облике этом и свойстве
найдем ли признанье Земли?
Узнаем ли сами Земли?..

Узнаем ли мы, не узнаем ли мы,
что мы не узнаем Земли?

ГАРМОНЬ, РАЗОРВАННАЯ НАДВОЕ

Я представил, что Россия, как гармонь со мной взята,
я услышал сквозь мехов свистящий вздох,
как бегут по-на две стороны Уральского хребта
запыхавшиеся пальцы поездов.

Давит-давит-давит-давит на басы свои Сибирь,
и, по кнопочкам до струйки нисходя,
там, за Псковом дарит-дарит откровения сивилл,
голося в тумане, родина дождя.

Ты, одна шестая суши, расскажи, о чём звучишь?
То ли милостыню просишь, то ль сама
тем, что лезешь Богу в уши, ты частям остатним, ишь,
чудо-музыку вливаешь задарма?

«Дыр, бул, щил» – совсем не заумь, а гармонь блажная та
в дырах, бульках, щелях – раны таковы.
Можно сжать её без звука до Уральского хребта
и разжать её без звука – до Москвы.

Кто гармонь к себе притиснул? «Дырбулщилит» у лощин?
Что сложить не могут рваные меха?

«ПростоДЫР...», потом – «БУЛатом...»,

а в концовке – «улеЩИЛ».

Ах, не кровушкой ли пахнет от стиха?

Половина той гармонии уползает на восход,
половина уползает на закат.

Разорвали её, дьяволы! Сижу, зажавши рот.

То ли зубы, то ли клавиши летят.

ЧЕЛОВЕК, ПРЕДАВШИЙ ЗВЕРЯ

Я умираю в собаке, которую предал.

Жду, что умру.

Дабы мой след опознав, не считала она его следом
в Божьем миру.

Спас от собачников, вынянчил, слух разузорил
кличкой – и вдруг
сбагрил. О, сколько в её ошарашенном взоре
веры и мук!

Зверь приручённый не может предать человека –
крепок сей наст.
Но человек – жадный выкормыш плети и стека –
зверя предаст.

Сопоставимы ли та и другая потеря?

Жаль мне людей:

ибо предательство не человека, а зверя –
крест полютей.

Кто на Голгофу незримо взошёл с Иисусом?

Тенью прирос.

Пётр отрекался, и блохами не был искусан.

Всё же – не пёс...

Может быть, это Его самый верный апостол,
взвывший среди вый,

хоть и не стал он ни стражей, ни паствой опознан:

«У! Не убий!»?

И всколыхнулась, выиграла людская клоака:

– Пробил твой час!

– Люди! – Он молвил, – во мне умирает собака...

Впрочем, и – в вас!

И заскрипела не мачта – распятые ответно.

Вырвался стон.

И, клокоча, запредельным наполнился ветром
парус-хитон.

И с той поры до скончания света и мрака
очи – горе`:

– Господи Боже! Во мне умирает собака.

Та, что я пре...

Столько нарыла земли у ворот и забора!

Морда в грязи.

Скоро она шар земной повернёт до упора
против оси.

Лишь бы – к хозяину прежнему. Ближе и ближе.

Кликну её.

Сходит с ошейника, вертится, прыгает, лижет
ухо моё.

Лапы трясутся во сне. Ну а сон – одинаков:

мясо даю,

долго кормлю и веду сквозь туман до барачков.

И предаю.

ПРИГОВОРЁННЫЕ К МАРСУ

Спит земля в сияньи голубом...

Михаил Лермонтов

Мы ещё не отлетели.

но ведь скоро отлетать?..

И в земном, промозгом теле

марсианский срок мотать.

Мы увидим за собою,

удалённые зело,

как сиянье голубое

в красный сумрак перешло.

Не пристало бывшим людям
о добре триндеть и зле.
Мы отцов святых забудем,
как забыли на Земле.

Постепенно, колонисты,
поотвыкнем всё равно
из космической канистры
пить абхазское вино.

Мы по Марсу, как по маслу,
без скафандров, ясным днём,
репетируя гримасу
отрешённости, пройдем.

Но сама спадёт гримаса,
и мы вымолвим, тихи,
первобытные для Марса,
рудиментные стихи.

Не нашедшие признанья
на кругу своём земном,
вдруг обрящем воздаянье
мы в эфире мировом.

Можем быть, иная раса
и расскажет, как легли
чужемирцы в землю Марса,
наблюдая Марс Земли.